

СТАТЬИ

Адам Улам

ИСТОКИ *

В начале ноября 1917 года, путем *coup d'état*, власть над Россией перешла в руки большевиков. Из них только немногие мыслили себя руководителями страны в традиционном смысле этого понятия. В собственных глазах они были авангардом мировой революции, вступающей в стадию своего осуществления. Их едва ли больше тревожили дела в Москве или положение русской армии, чем события в Вене или возможности возбудить революционные настроения среди немецких солдат.

И все же, — как мы это знаем теперь и как это поневоле через несколько месяцев вынуждены были признать сами большевики, — непосредственным и самым существенным последствием совершившихся событий было именно то, что они стали правителями России, наследниками царей.

Каково же это наследие?

К началу XVIII века при царе Петре Великом Российская империя добилась положения великой европейской державы. В результате почти непрерывных войн, которые заполнили ее историю XVIII века, России удалось вытеснить из Европы Турцию. Два другие претендента на доминирующее положение в Восточной Европе — Польша и Швеция — уже к середине того же столетия были сведены до роли третьестепенных государств, а Польша к концу его вообще прекратила свое существование. Значительная часть польских территорий, которые составляли некогда польско-литовское государство, едва не превратившего около 1600 года саму Россию в своего сателлита, вошла в состав царской империи.

Внешняя экспансия характеризовала политику и других европейских держав XVIII века. Но русская экспансия, в отличие от

*

Adam Bruno Ulam "Expansion and Coexistence, the History of Soviet Foreign Policy, 1917-1967", N.Y. Praeger, 1968, 775 p.

них, привела не только к политическому, но и, преимущественно, к этническому доминированию русских. На отобранной у Польши территории жили, в частности, украинские и белорусские крестьяне, которые были близки к великороссам по языку, исповедовали общую с ними православную веру и, не успев выдвинуть свои высшие и средние классы, не могли защищать собственное национальное своеобразие. Что же касается азиатских земель по другую сторону Урала, то русская экспансия, которая велась в этом направлении еще с XVII века, встретила там лишь разрозненные племена кочевников. В конечном счете, уже к концу XVIII века Россия, заключив договор с Китаем, обеспечила за собой обширные владения в Восточной Сибири.

Сложившиеся к концу XVIII века условия способствовали, таким образом, формированию специфически русского национализма, который с поразительной цепкостью сохранялся вплоть до революции. Творцы его были бы потрясены, доведись им узнать, что этот национализм снова решительно заявит о себе уже при Сталине.

Россия стала самым обширным государством Европы. И не было силы, с другой стороны, которая могла бы остановить ее продвижение в Азию, вплоть до Тихого океана, — по крайней мере, пока к концу XIX века не появилась успешная модернизироваться Япония. А, распространяясь на юг, по обе стороны Черного моря, Россия нашла там умирающие Турецкую и Персидскую империи, которые не имели сил без посторонней помощи воспрепятствовать успехам русского оружия и росту русского влияния.

Однако то, что в XVIII веке казалось огромной исторической удачей России, легло, вплоть до сегодняшнего дня, тяжелым бременем на ее судьбу. Она превратилась в страну, столь же европейскую, сколь и азиатскую. Процесс модернизации, которым сопровождался выход России на международную арену, был делом, главным образом, правительства, имея своей основной целью прежде всего увеличение военного потенциала государства. Этот процесс почти не был связан с формированием среднего сословия, которое стало на Западе главным носителем революции и прогресса.

Рождение русского национализма, осязимо окрасившего

русскую историю XIX и XX столетий, оказалось еще существеннее. "Кто остановился, — начинает гнить", — говорил один из министров Екатерины Великой. Уже с первых шагов русского империализма в нем заметны специфические особенности. Идея особой исторической миссии русского народа как священного носителя восточного христианства, как заступника православных от католицизма, так и, в особенности, против ислама, уходит корнями в допетровскую эпоху, в ранние годы Московии. Конкретным воплощением этой идеи было упорное стремление русских изгнать турок из Европы, вернуть христианскому миру Константинополь и проливы.

Этот экспансионистский национализм с самого начала не был свободен от известных, — как мы бы теперь выразились, — компенсаторных элементов. Обширные территории России и ее военное могущество возмещали в глазах ее правителей ее явную культурную и социальную отсталость по сравнению с Западом.

Если заглянуть поглубже, можно уже в XVIII веке обнаружить семена того специфически народнического оправдания империализма, которое достаточно явно, — хоть и достаточно нелепо в тех условиях, — использовалось царской Россией и в XIX столетии, а затем превратилось в краеугольный камень советской официальной позиции: раздел Польши уже тогда изображался как законная защита русскоязычных крестьян от национального и религиозного угнетения польскими панями.

Когда в 30-е годы Сталин оторвался от догматически марксистской трактовки царской России и начал претендовать на известную преемственность своей политики с некоторыми элементами традиции, восходящей еще к Ивану Грозному и Петру Великому, это не было только капризом и не диктовалось всего лишь пропагандистскими нуждами момента. Это было также и запоздалым признанием, что ноябрь 1917 года вовсе не выметло прошлое железной метлой, что под покровом новой фразеологии, при новом культе и правящем классе продолжали сохраняться глубинные связи с русским имперским прошлым.

Современная эра в истории России началась с 1815 года, после наполеоновских войн, когда она утвердилась как главная сила континента и выступила на Венском конгрессе арбитром при решении судеб Европы. В венских соглашениях содержал-

ся пункт, которому предстояло повлиять не только на последующую внешнюю, но и внутреннюю политику России. Россия извлекла тогда главные выгоды из нового раздела Польши, получив на этот раз и чисто польские земли, включая Варшаву. Самодержец России стал конституционным монархом Польши, как это еще раньше было сделано с Финляндией, которую отобрали у Швеции. Если учесть прошлое обеих этих стран, станет очевидным, насколько нереально было подобное совмещение. С высоты нашей сегодняшней исторической перспективы отчетливо видно, что польский вопрос связывал русских политиков по рукам и ногам все последующие десятилетия.

Российская империя оказалась крайне заинтересована в подавлении национальных движений, которые возникали у покоренных и разделенных народов Европы. Общая забота о пресечении любых попыток восстановить польскую независимость привязала Россию к интересам Австро-Венгрии и, особенно, к Пруссии. Она не могла избавиться от этого вплоть до конца XIX века. А между тем Пруссия успела создать Германскую империю, которая заменила Россию в роли главной силы европейского континента.

Никогда, вплоть до советского периода, русская внешняя политика не была столь идеологична, как в сорокалетие от Венского конгресса до кончины Николая I в 1855 году. Не только относительно границ между державами, но и относительно существующего социального и политического порядка, ее интерес повсюду состоял в том, чтобы заморозить status quo. В русской истории все снова и снова воспроизводилась одна и та же ситуация: в глазах ее руководителей, тенденции внутреннего прогресса воспринимались как угроза и территориальной целостности империи, и ее самодержавному строю. Даже Александр I, этот просвещенный самодержец, который заигрывал с проектами отмены крепостничества и дарования стране зачатков конституционализма, после 1815 года становится крайне подозрителен к либеральным идеям. Железный занавес, который предназначался Николаем I, чтобы держаться подальше от западных настроений и институтов, и который уже тогда отличался такими современными особенностями как тайная полиция с широкой сетью доносчиков и до нелепости придиричивая цензура, сопро-

вождался агрессивной внешней политикой, неизменно примыкавшей при Николае I к силам репрессий и консерватизма в любой части Европы.

Польское восстание 1830 года, подавление которого повлекло за собой ликвидацию автономного статуса Польши, привело к конвенции 1833 года и взаимному обязательству монархов России, Австрии и Пруссии помогать друг другу в случае не только внешней, но и внутренней угрозы их власти. Великие революционные годы континента — 1830 и 1848 — находят Россию готовой к военному вмешательству на стороне реакции даже в столь отдаленных от нее странах как Бельгия или Италия. Эта готовность реализовалась, наконец, в 1849 году, когда, по просьбе Габсбургской монархии, русские войска помогли сокрушить венгерское национальное восстание. Чуть побольше столетия позднее русские войска снова вошли в ту же Венгрию, чтобы подавить восстание народа и закрепить режим, целиком зависящий от иностранной державы.

Уже к концу николаевского царствования наиболее дальновидным наблюдателям было очевидно противоречие между тем, что можно было определить как русские национальные интересы, и идеологическими вкраплениями в эти интересы. Экономическое и социальное развитие России все больше отставало от Запада, который переживал тогда родовые муки промышленной революции. В конечном счете даже военная сила самодержавия неизбежно должна была пострадать от его цепляний за обветшалую политику, тогда как неизменная поддержка ею ретроградной реакции оставляла империю изолированной на международной арене.

Идеологическая фаза во внешней политике царской России пришла к концу после поражения в Крымской войне. Естественные симпатии императоров и большинства бюрократии, которая от их имени правила империей вплоть до Первой мировой войны, продолжали склоняться к реакции, а в международной политике — к тем государствам, которые все еще исповедовали принципы монархии и консерватизма. Но при всем том после 1856 года эти соображения перестали быть решающим фактором внешней политики России.

Шестьдесят девять лет, которые отделяют кончину Николая I

от начала Мировой войны, обнаруживают многие мотивы преемственности с советским периодом. Хотя ретроспективный взгляд историка наталкивается на катастрофическое крушение империи в 1917 году, он все же должен признать, что именно те годы с их неровным прогрессом, перемежавшимся насилием и революциями, заложил фундамент современной России, сообщив ей силу выстоять после военного поражения и разрушительной гражданской войны. Начав с уровня, намного отстоявшего от западных стран, Россия в конечном счете приблизилась к темпам роста, равным таким передовым в этом отношении странам, как Соединенные Штаты Америки и Германия. Именно тогда обнаружились то самое стремление догнать и перегнать современный мир, тот самый хозяйственный и культурный динамизм, которые, наперекор устойчивым следам социальной и политической отсталости; расчистили сцену для развернувшейся революционной драмы.

Бросая ретроспективный взгляд от 1914 года к событиям 1880-х и 1890-х годов, историк международных отношений обнаружит, что масштабы внешнеполитических интересов страны продолжали чрезмерно перегружать ее действительные возможности. Конечно, то было время международного империализма, а округление русских границ путем завоеваний на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке представлялось вполне разумным, покуда оно не вовлекло Россию в конфликт с другими великими державами. Но дальнейшие территориальные претензии в Персии и Афганистане несли с собою обострение отношений между Россией и Великобританией, которое остается постоянно действующим фактором вплоть до заключения русско-британского союза в 1907 году. Судьба этих буферных государств снова стала источником конфликтов и интриг между уже советской Россией и Великобританией, которые длились пока Великобритания не перестала существовать как азиатская империя. Точно так же Крымская война не остановила русского давления и на Турецкую империю. Борьба за сферы влияния на Балканах, а также широко распространенные в России настроения, согласно которым балканские славяне по причине своего этнического характера и православного вероисповедания имеют особое право на покровительство со стороны великой славянской дер-

жавы, вовлекли Россию в самый котел европейской политики, что в конечном счете дало повод к мировой войне и завершилось катастрофой.

Тот же ретроспективный взгляд обнаружит опасные тенденции во всей системе обоснований русской внешней политики. К середине XIX века принципы легитимизма и консерватизма, которые прежде давали основания для вмешательства в дела других народов, устарели и утратили убедительность. Оправданием чрезмерной внешнеполитической предприимчивости стал воинственный национализм. Уже такой дальновидный деятель империи как Сергей Витте, который выступал настойчивым сторонником промышленного развития и стал премьер-министром после революции 1905 года, понимал очень отчетливо, что преувеличенные амбициозность и экспансионизм во внешней политике могут только повредить России. Империя и без того была слишком велика. У нее было множество насущных внутренних проблем, которые требовали безотлагательного решения и диктовали потребность в мирной обстановке. Международные авантюры и войны могли лишь воспалить уже существующие язвы, сделать еще более болезненными и явными социально-политические слабости царского режима. Трудно было не заметить, что за каждой из войн и поражений России, не столь уж значительных по тогдашним стандартам, следовало обострение внутренней напряженности.

Поражением в Крыму открывался не только период реформ, но и революционных движений. Хотя в Балканской войне 1877-1878 гг. Россия нанесла поражение Турции, но последовавшее давление великих держав на Берлинском конгрессе отняло у нее главные плоды этой победы, а революционная волна поднялась настолько высоко, что через три года сам Александр II пал от рук террористов "Народной воли". В начале XX века претензии России на господство в Манчжурии и в северном Китае натолкнулись на сопротивление, а русско-японская война обнажила слабость и внутреннюю нестабильность империи. Если прошлые внешнеполитические неудачи влекли за собой подъемы революционных настроений, то эта последняя вызвала настоящую революцию, от которой монархия и установленный ею в русском обществе порядок никогда так и не оправились.

И все-таки эти уроки, которые не прошли мимо внимания Сталина в 1939 году и наглядно показывали, что деспотическая политическая система рискует в войне много большим, чем просто поражением, по-прежнему игнорировались большинством политических деятелей империи. Словно какой-то рок обволакивал и скрывал от глаз действительные сцепления хода внешней и внутренней политики России.

В советский период мы увидим режим, который по большей части великолепно научился различать роль политики и пропаганды в международных отношениях, который прочно усвоил, что его идеология и национальные интересы — отнюдь не всегда синонимы. Советская искушенность и умелость в этих вопросах, очевидно, результат уроков, извлеченных из царского прошлого.

Если при Николае I царские государственные люди видели свой долг в том, чтобы сохранять status quo, растрачивая на это и ресурсы страны, и ее международный престиж, то впоследствии они руководствовались противоположным, но не менее рискованным принципом. Было бы, конечно, преувеличением сказать, что царская Россия, которая и к концу XIX века все еще оставалась бастионом авторитаризма, вела революционную внешнюю политику. Но все-таки несомненно, что это была политика, направленная на ликвидацию сложившегося территориального status quo, покровительствующая, — как мы бы теперь выразились, — “освободительным войнам” балканских славян против их турецких владык и сочувствовавшая положению славянских жителей австро-венгерской империи, которое изображалось ужасным. Совесть панславизм, жажда объединить под эгидой России все славянские народы вовсе не определяли главное направление русской международной политики, хотя и были модны в определенных интеллигентских кругах. Но все же они оставались фоном дипломатической борьбы с Австро-Венгрией, которая стала главным противником России на Балканах, а также столетней борьбы России против германской экспансии в восточном направлении.

Как и в будущей советской заботливости о жертвах колониального угнетения, в царских огорчениях по поводу судьбы славян было нечто парадоксальное и ироническое. Царская Россия,

—эта, по выражению Ленина, “тюрьма народов”, — извлекла главные выгоды из ликвидации польской независимости. Подавлялось правительство Санкт-Петербурга также и растущее национальное самосознание другого славянского народа — украинцев. Многие из “угнетенных” славян — чехи, словаки, хорваты, — пользовались под властью Габсбургов политическими свободами и достигли жизненного уровня, который был намного выше удела самого русского народа. Даже славянские нации Балкан, двигаясь в сторону установления собственной государственности, получили конституционные права и парламентское представительство, каких не было в России вплоть до революции 1905-1906 годов. Подобные неувязки не уалярировались, как это оказалось впоследствии, в советский период работой великолепной налаженной пропагандистской машины и международным движением, которое отождествило бы интересы России со своими собственными.

Россия вступила в первую мировую войну в осуществление своих обязательств перед маленькой славянской страной Сербией, которой угрожала Австро-Венгрия. Для многих (если не для всех) представителей прогрессивного и либерального лагеря эта война представлялась желанной. Она поставила Россию в один ряд с прогрессивными и демократическими державами, Великобританией и Францией. Предназначением войны представлялось окончательное преобразование русской монархии в конституционный режим. Стихийные патриотические демонстрации в главных русских городах выражали преданность императору, который воспринимался как символ решимости нации порвать, наконец, с прогерманскими и абсолютистскими традициями его дома, чтобы привести Россию в лагерь прогресса и демократии. Только на краях политического спектра — справа, в среде реакционеров, и слева, горсткой большевиков, — война воспринималась как начало окончательного крушения монархии и радикальной революции.

Через много лет, в начале своего курса на индустриализацию, — ценой любых человеческих жертв, сколь бы чудовищны они ни были, — Сталин вынес характерный приговор всему опыту царского периода. Царская Россия, — утверждал он, — при всей обширности ее территории и ресурсов, оказывалась неизменно

бита внешним врагом. Из-за ее экономической и технологической отсталости, из-за ее отжившего общественного строя над ней последовательно одерживали победы французы и англичане в Крымской войне, потом японцы, а потом и немцы. Эта суммарная оценка навряд ли справедлива: история Российской империи была богата и военными триумфами, и территориальными приобретениями. Но в сталинском приговоре суммирован урок, который извлекли большевики из опыта своих предшественников, допустивших, чтобы их вовлеченность в международные дела перевесила военные и экономические возможности государства. Самодержавный режим оказался пленником не только своих международных обязательств, но также и собственной идеологии, хотя и то и другое приняло направление, грозившее подорвать самые основы самодержавия. При всем своем идеологизме и миссионерстве советский режим имел мудрость воздерживаться от подобных категорических обязательств.

Не так уж трудно заметить, что тогдашний сталинский приговор подразумевал, с другой стороны, безусловное одобрение экспансионистских целей дореволюционной России. Советские государственные деятели, будь они более откровенны, вполне могли бы повторить слова, сказанные их предшественником еще в XVIII веке: "Кто остановился, — начинает гнить". Все традиционные обоснования империалистической экспансии России, — этнические соображения, панславизм и даже православие, — все это нашло свое место в арсенале внешней политики и советской России. Цель царских правительств, к которой они стремились, не умея достигнуть, — установление полной гегемонии России над Восточной Европой, — была, наконец, реализована в 1945 году. Этнические границы Германии были отодвинуты к тому положению, которое они занимали в средние века. Правительство Сталина, хотя и исповедуя официально атеизм, уничтожило греческо-католический обряд в восточной Галиции, поддержав православную церковь совершенно так же, как это сделало правительство Николая I в своих западных имперских владениях в 30-е и 40-е годы XIX века. Были ликвидированы также и потенциальные возможности этнического и государственного воссоединения украинцев и белорусов, когда и тех и других преврати-

ли в советских подданных. Уже одни эти факты красноречиво свидетельствуют о прочной линии преемственности между старым и новым режимами.

* * *

Наличие исторической преемственности не означает, разумеется, будто Ленин и Сталин хотели просто дообиться под прикрытием новых лозунгов осуществления цели царей. Люди, которые захватили власть над Россией в октябре 1917 года, искренне считали себя марксистами. Оставляя в стороне вопрос о том, насколько ортодоксально с точки зрения исповедуемой ими идеологии было их намерение ускорить исторический процесс и ввести социализм в сравнительно отсталой стране, следует все-таки признать, что они сохранили убеждение в своей верности если не букве, то духу воспринятого ими учения. Их мышление формировалось как под влиянием доктрины, выдвинутой Марксом и Энгельсом в XIX веке, так и под воздействием их собственного опыта. То, что может быть воспринято как марксистская составная часть политики советской России, включало в себя, по меньшей мере, три элемента. Во-первых, это был общий догматический канон — идеи самих Маркса и Энгельса. Во-вторых, это был исторический опыт борьбы большевиков с другими направлениями русского революционного и социалистического движения. Наконец, в-третьих, это были уроки, извлеченные из бурных лет войны и революции 1914-1917 годов, когда многие из былых догматов и стратегических установок уступили дорогу дерзким импровизациям и новым теориям, которые мы связываем теперь с понятием "ленинизм". Хотя практически невозможно полностью отмежевать эти элементы один от другого, все-таки мы попытаемся это сделать, поскольку иначе было бы трудно понять, как сложившееся в обстановке XIX века учение смогло превратиться в направляющий маяк политики одной из сверхдержав нашего столетия.

Внимательное чтение "Коммунистического манифеста" убеждает нас в том, что Маркс и Энгельс ждали революций в промышленно развитых странах, которые должны были наступить в ре-

зультате внутреннего крушения их экономической и политической системы. Что же касается внешней политики будущих социалистических государств, то об этом Маркс и Энгельс писали крайне мало. Пробел этот едва ли случаен, как не было случайно и более или менее полное отсутствие в их работах точных указаний, как должна будет функционировать экономика социалистических стран. По их понятиям, социалистическая революция должна совершаться в каждой отдельной стране, когда она до этого созреет, — то есть, когда она достигнет достаточно высокого уровня промышленного развития. Общей международной обстановке при этом сколько-нибудь существенного места не отводилось. В "Манифесте" мы находим прямые указания на то, что значение различных традиционных аспектов внешней политики — споров о границах, милитаризма, религиозных несогласий и т.д. — со временем будет убывать. Даже национализм с прогрессом экономики и цивилизации ослабит свое влияние на судьбы народов. Интересы двух враждующих классов — капиталистов и рабочих — по мере превращения хозяйства в общемировое также выйдут за пределы национальных границ. Совершенно отчетливый вывод из всего этого состоял в том, что не только рабочие, но и капиталисты не будут "иметь отечества", — в том смысле, что никакая национальная привязанность не будет отражаться на интересах данного класса данной страны.

Таким образом, марксистский интернационализм покоился на допущении, что соображения национальной политики станут в будущем будут становиться — все менее существенными. Если капиталисты Англии и Франции найдут их торговые связи взаимно выгодными, никакие соображения национального характера, никакие территориальные споры не вынудят их начать войну. И тем меньше поводов для вражды останется у Англии и Франции, когда они станут социалистическими: рабочий класс каждой из них будет твердо осознавать, что только наиболее полное использование внутренних ресурсов представляет практический путь улучшения экономики этих стран, а, следовательно, и повышения их благосостояния. Война, а вместе с нею и значительная часть традиционной внешней политики попросту устареют.

Что же касается апокалиптической борьбы социалистических и несоциалистических народов, то, согласно канонам классического марксизма, она исключалась почти по определению. Во-первых, подразумевалось, что капитализм, который вполне способен прибегнуть к насилию во внутренних делах, на международной арене оказывается фактором мира. (В основу ленинской философии международных отношений легло резкое изменение выводов марксистского анализа именно в этом пункте.) Во-вторых, считалось само собой разумеющимся, что страны, которые вступят на путь социализма, будут самыми передовыми в промышленном, — а, следовательно, и в военном, — отношении. У таких стран не могло бы возникнуть страха перед народами с отсталым феодальным хозяйством и политической структурой, которая продолжала бы толкать их к милитаризму и территориальным захватам. Короче говоря, теория Маркса представляла собою социалистический вариант просвещенно-либерального взгляда на будущее международных отношений, как он сложился в его время. Эта теория была детищем рационалистического века, полностью полагавшегося на материальный и научный прогресс, оптимистически уверенного в способности цивилизованных людей покончить с ужасами и бедствиями прошлого.

Но здесь необходимо немедленно внести и существенное дополнение. И Маркс и Энгельс как публицисты и наблюдатели текущих политических событий написали тома о дипломатических и военных вопросах своего времени. Их интуиция и аргументы слагаются в целый комплекс идей, которые хоть и не противоречат их главной теории, представляют собою все же иное изменение их размышлений над международными проблемами.

К тому же Маркс и Энгельс считали себя политиками и вождями, призванными разрабатывать повседневную стратегию международного социалистического движения, — по крайней мере, в интеллектуальной сфере. В этом своем качестве они симпатизировали большинству революционных и национально-освободительных движений своего времени. Основоположники учения были не только социалистами, но и революционерами. И эти две тенденции в марксизме не просто сосуществовали, но время от времени приводили к резким внутренним конфликтам в нем самом.

Поддержка различных революционных движений в Европе XIX века, — даже когда некоторые из них вовсе не были социалистическими, — часто оправдывалась и обосновывалась общими международными соображениями. Так, Маркс горячо поддерживал польский национализм даже вопреки тому, что он опирался на высший и средний классы польского общества, вовсе не выражая интересы пролетариата, которого фактически в Польше и не было. Эта его позиция объясняется тем, что польский национализм и его безрезультатные восстания были направлены против трех держав, — Пруссии, Австрии и, в первую очередь, России, — которые были бастионами европейской реакции и препятствовали повсюду в Европе экономическому и социальному развитию. А лишь такое развитие, согласно теории Маркса, прокладывало путь к социализму. Революционная логика, таким образом, великолепно оправдывала искренний союз социалистов с польскими дворянами. Представление о желательности (некоторых!) ”войн за национальное освобождение” не было изобретением Хрущева; оно, по крайней мере, столь же старо, как ”Коммунистический манифест”.

Почти столь же не нова и восходит к тому же источнику также и тактика, которую можно назвать ”революционной расчетливостью”: готовность поддержать любое революционное движение даже тогда, когда его цели и идеология явно несовместимы с марксизмом, если оно подрывает традиционную политическую структуру данной страны. Маркс и Энгельс с восхищением наблюдали за борьбой против царизма русских народников, хотя и идеология народников, и применявшиеся ими методы борьбы (в частности, индивидуальный террор) выглядели в свете марксизма и устаревшими, и ложными. Снисходительность отцов марксизма заходила в данном случае так далеко, что временами она принималась расхолаживать стремление их собственных последователей создать в России самостоятельную марксистскую партию. Они опасались, что вражда, будучи перенесена вовнутрь революционного лагеря, может лишь ослабить шансы подрыва и свержения русского самодержавия.

Россия оказалась главной мишенью международного революционного движения XIX века и из-за ее отсталости, и из-за ее роли как оплота реакции. По логике вещей Великобритания, — это наиболее развитое из капиталистических государств, —

должна была бы выглядеть в глазах воинственных марксистов, по меньшей мере, столь же важным врагом. Однако наперекор пророчествам и утверждениям марксистского учения революционный социализм не нашел дороги к сердцу британского рабочего класса, который явно склонялся к тредьюнионизму и реформизму. Основные надежды революционных социалистов, поскольку речь шла о Великобритании, оказались связаны с национальными смутами в Ирландии, хотя, опять-таки, в них не было ничего социалистического. Отцы марксизма в каком-то смысле считали главной опасностью приручение классово-борьбы посредством профсоюзов и парламентских учреждений, а потому с симпатией смотрели на любое революционное начинание, на любое движение или общественный кризис, которые невозможно было бы удержать в конституционных и мирных рамках, которые целиком подрывали государственные устои, позволяя бросить открытый вызов буржуазии.

Таким образом, в политическом мышлении Маркса, — в неявном, правда, виде, — содержалось допущение, что тактика международного социализма должна быть гибкой, что никакими возможностями, будь то национальный или религиозный конфликт или даже парламентаризм, нельзя пренебрегать, если они помогают ослабить капитализм и расшатать status quo.

Вполне понятен соблазн усматривать в подобных высказываниях Маркса и Энгельса прямой источник политики Коминтерна и советского правительства. Но важно не упустить из виду и существенные различия.

Привязанность Маркса и Энгельса к идее насильственной революции никогда не была абсолютной. За несколько лет до своей смерти Маркс великодушно признал, что в таких странах как Великобритания, Соединенные Штаты или Нидерланды социализм может утвердиться и мирными средствами. Энгельс, который дожил до избирательных успехов германской социал-демократической партии, соответственно расширил этот прогноз. В наиболее развитых европейских странах, — утверждал он тогда, — капиталисты перешли от наступления к обороне, а расширение избирательных прав делает неизбежным тот день, когда пролетариат добьется парламентского большинства, а вместе с ним получит в свои руки и государственную машину.

Определяющим принципом для изначального марксизма ос-

тавался интернационализм. Для самого Маркса была бы совершенно немыслима такая ситуация, когда политика международного социализма подчинилась бы диктату одной партии или одного государства. Говоря о колониализме, Маркс был очень далек от того, чтобы приписывать ему решающую роль в развитии капиталистических обществ, как это сделал впоследствии Ленин. Маркс предвидел пробуждение Индии и Китая. Но при этом он считал заморские захваты европейских держав, скорее, прогрессивным фактором, поскольку они несли с собою в отсталые общества индустриализацию, а индустриализация в системе понятий классического марксизма была почти тождественна прогрессу и цивилизации. Маркс ни в коем случае не принял бы и тезиса, что английский капитализм не устоял бы после потери заморских территорий. Допускалось, что революция может победить и в отсталой стране, но при этом признавалось бесспорным, что социализм не может быть утвержден, если для этого не созрели экономические предпосылки. И никакая политическая организация, никакая массированная "пропаганда" не могла бы, с точки зрения классического марксизма, преодолеть это обстоятельство.

В конечном счете наследие Маркса в международной и внутренней политике должно быть признано, по крайней мере, двойственным. На часть этого наследия может претендовать основное течение европейской социал-демократии, как оно сложилось после смерти Маркса; тогда как другие его элементы принадлежат воинственному социализму, который в конце концов откристаллизовался в коммунизм.

Вторым элементом марксистского наследия в советской внешней политике был исторический опыт русских марксистов и, особенно, их большевистской фракции между 1903 и 1914 годами.

До 1914 года русские марксисты представляли собою лишь одну из ветвей среди многих революционных и прогрессивных направлений, целью которых было свержение монархии или, по крайней мере, преобразование ее в конституционную монархию. Даже их собственное учение признавало, что **с о ц и а л и с т и ч е с к о й** революции для России не близок. Это учение сводилось к тому, что ближайшая революция должна быть в России либерально-демократической и что лишь после нее, вслед за

периодом интенсивного индустриального развития, созреть предпосылки для социализма. Во время революции 1905 года Троцкий и Парвус бросили вызов примирению с неизбежностью этой исторической последовательности, выдвинув теорию "перманентной революции". Хотя они заимствовали этот термин у самого Маркса, тогдашние большевики, как и меньшевики, остались верны ортодоксальной трактовке.

Однако оба ответвления русского марксизма вопреки букве усвоенного ими учения были по своему темпераменту гораздо более радикальны, чем любая из основных социалистических партий Европы. Это объясняется отчасти тем, что они сформировались при специфически российских условиях, при которых даже после установления полуконституционного строя с 1906 года политические партии и их действия подвергались преследованиям. Отчасти же тут можно видеть влияние русского революционного движения XIX века с его предрасположенностью к насилию и внутренними убеждениями, что революция скорее должна явиться актом воли, чем последствием особых социально-экономических предпосылок. (Большевики особенно впитали в себя под влиянием Ленина значительную долю идеологии таких организаций как "Народная воля" с их террористической тактикой.)

Расчет на организованность и конспирацию был, как уже говорилось, естественным последствием специфических условий политической жизни в России, но уже в 1902 году Ленин в своей работе "Что делать?" возвел эти условия в основополагающий принцип марксизма XX века. От основного ядра марксистских исторических пророчеств Ленин все больше отклонялся к тому, что охарактеризовано нами как вторичный элемент марксистского мышления: к использованию в целях развязывания революции любых подходящих социальных элементов, а не одного только пролетариата. Социалистическая партия, которой предстояло превратиться в социалистическое государство, училась обращать себе на пользу любое политическое или социальное недовольство. Она, по Ленину, должна была уметь, если потребуется, подавлять в себе угрызения совести. Например, недовольство крестьянства, его земельный голод представляли собой наиболее серьезную угрозу стабильности империи, хотя те же крестьяне решительно восстали бы против марксистов,

если бы эти последние открыто настаивали на национализации земли и введении управляемых государством сельских хозяйств, как это предписывалось марксистским учением.

Еще более существенной для последующего развития советской внешней политики оказалась эволюция идеологии и тактики большевиков в национальном вопросе. Эта эволюция побуждает нас вспомнить замечание одного советского историка, который сказал, что Ленин никогда не рассматривал идеологическую проблему или политическую платформу обособленно от ее пропагандистских аспектов. Можно сказать с уверенностью, что именно способность коммунистов представляться лучшими друзьями любых угнетенных национальностей в любом уголке земли дает ключ к их успехам не только во время Гражданской войны в России, но и, особенно, после второй мировой войны.

Как бы ни были глубоки социальные и политические противоречия, возбуждавшие революционные настроения в Европе, они едва ли могли перевесить угнетение и унижительную русификацию национальностей, которые практиковались внутри Российской империи. Мы уже упомянули о польском вопросе. К этому нужно добавить русификаторскую политику, которая направлялась императорским режимом против национальностей Кавказа и Балтийского Побережья. Царской политикой упорно отрицалось само существование украинской нации, а многочисленное еврейское население западных губерний империи подвергалось антисемитской дискриминации, которая не имела параллелей в остальной Европе.

Ленин отлично видел, какое эффективное оружие представлял бы собою национализм, если бы марксисты выступили в поддержку права каждой нации на независимость безразлично к социальному характеру того или иного из национальных движений. Будь оно возглавляемо высшими или средними классами или даже клерикалами, ленинцы все равно провозгласили бы, что любая национальная группа имеет право на собственную государственность. Мы видели, что подобная политика могла бы найти для себя превосходные прецеденты в сочинениях самого Маркса. Однако ортодоксальное учение навряд ли примирилось бы с тем, что марксистская партия делает национализм одним

из важнейших пунктов своей собственной программы. Придирчивая критика нашла бы русских марксистов временами в весьма странной компании. Например, польский национализм был распространен, главным образом, в высшем и среднем классе польского общества. С отделением Польши от России перспективы социалистических преобразований оказались бы отложены на неопределенный срок. В независимой Польше, по всей вероятности, утвердилась бы власть помещиков и католицизма, который имел сильное влияние на крестьян. Среди других национальных групп России, — особенно у тюркских народов и армян, — националистические агитаторы, как правило, вдохновлялись религиозными мотивами. Опять-таки, со строго марксистской точки зрения, их независимость означала бы шаг назад, означала бы выдачу неразвитого населения в руки полуфеодалов и религиозных фанатиков.

Однако в большевистских рядах программу дня диктовал Ленин. Роза Люксембург, которая была участницей и немецкого и польского социал-демократического движения (а это последнее имело периодически прерываемые связи и с русскими социалистами), выступая с критикой Ленина, предлагала более ортодоксальное, с точки зрения марксизма, решение вопроса: для рабочих национальная проблема второстепенна; для них важна ликвидация эксплуатации независимо от того, кто ее носители — немецкие, польские или русские капиталисты. Но врожденный реализм подсказывал Ленину, что в XX веке национальные привязанности часто оказываются притягательнее классового интереса и что борьба социалистов за влияние в крестьянской стране (до 1914 года он еще не заговаривал о захвате власти) обречена на проигрыш, если будет вестись исключительно с классовой точки зрения.

Впрочем, с другой стороны, еще до 1914 года можно было обнаружить, что в глазах Ленина национальная автономия вполне совмещалась с сохранением прежних государственных границ России и с известной степенью политической централизации. Ленин решительно отверг желание еврейской социалистической организации — Бунда — сохранить более или менее автономную структуру в рамках широкого, всероссийского социалистического движения. Он предусматривал также, что будущее социа-

листическое государство вполне может остаться и многонациональным, как это видно, в частности, из трактата по национальному вопросу, написанного Сталиным под ленинским руководством незадолго до начала Первой мировой войны: отдельные национальности, если они представляют собой четко определяемые территориальные единицы, могут, если того захотят, получить полную автономию; однако — подчеркивалось одновременно, — с утверждением социализма, с ликвидацией капиталистической эксплуатации сами эти единицы предпочтут сохранить федеральную структуру. Воинственный национализм рассматривался, таким образом, как полезная разрушительная сила, куда социализм еще не утверджен; но в социалистической России у грузин или украинцев уже не останется поводов стремиться к отделению.

Глядя из сегодняшнего дня, помня обо всем, что случилось впоследствии, нельзя не признать, что эта ленинская формула обнаруживала его недюжинный талант и волков накормить и овец сохранить, или, говоря попросту, — его цинизм. Чтобы нанести поражение врагу, вы можете прибегнуть к самым революционным, к самым разрушительным требованиям, чтобы затем, добившись власти, утверждать, что эти требования стали беспочвенны.

Но тогда, до 1914 года, Ленин и большевики все еще с известным правом ощущали себя в ладу с марксистской ортодоксией и лишь пытались приладить наставления Маркса к духу времени и собственного общества, в котором такие эмоциональные факторы как национализм или привязанность крестьянства к частной собственности оказались намного сильнее, чем мог предусмотреть Маркс с его западным рационализмом. Ни Ленин, ни его ближайшие сподвижники не могли еще вообразить, что социализм в России — вопрос самого недалекого будущего и, — еще менее того, — что он придет в форме однопартийной системы.

И все же уже тогда русские марксисты (и в данном случае меньшевики не меньше, чем большевики) чувствовали себя уютно в атмосфере международного социализма. Обе русские группы в политическом спектре Второго интернационала неизменно оказывались слева. Многие в западном социализме вос-

принималось ими как плод ревизионистского разложения, нежелания их немецких или английских коллег признавать, что путь к грядущему социализму должен быть проложен насильем. Живя в обстановке едва реформированного самодержавия, они не могли понять компромиссов, которые заключались западным социализмом с буржуазным государством, не могли одобрить проявлявшейся время от времени склонности западных социалистов воспринимать парламентаризм как главное поле политической борьбы или растущую тенденцию профсоюзов индустриальных обществ скорее добиваться экономических выгод для рабочих, чем воспитывать их в духе классовой непримиримости. Для русских марксистов участие в выборах или в экономической борьбе отнюдь не означало, что социалистам надо покончить с конспирацией или, тем более, отказаться от планов насильственного переворота.

Следует напомнить и еще об одной особенности опыта большевиков до 1914 года, который обнаружил свою существенность, когда они оказались хозяевами страны, окрасив собою психологию их отношений с другими государствами. За исключением периода революции 1905-1906 годов, большевики составляли в русской политике ничтожное меньшинство. Их экстремизм, а временами и особенности их политических приемов, — например, между 1905 и 1907 годами, когда они не брезговали вооруженным грабежом государственных и частных фондов, — навлекли на них неодобрение даже их товарищей-марксистов, не говоря уже о русских либералах. Но, несмотря на это, никто — ни революционеры, ни реформисты — не стремились их изолировать. Меньшевики вплоть до апреля 1917 года искали объединения со своими неразборчивыми оппонентами.

Климат того, что звалось в России "освободительным движением", был таков, что даже самым конституционно мыслящим либералам трудно было вообразить какого бы то ни было врага слева, а не справа, или какие бы то ни было приемы борьбы с царизмом, которые надлежало отвергнуть как неприемлемые. Глубоко недемократический характер партийной организации большевиков был, конечно, замечен, но и все-таки их демократическая фразеология воспринималась с полнейшим доверием.

Можно даже утверждать, что большевики смогли выжить

как политическая сила после 1905-1907 годов только благодаря терпимости, проявленной к ним социалистическими и либеральными кругами и в России, и за границей. Иностранцы социалисты предоставляли большевистским вождям убежище и денежные средства для действий внутри России. Либеральные адвокаты бросались защищать арестованных членов большевистской партии. Небольшевистские представители социалистического движения воздерживались от слишком резких разоблачений перед русскими рабочими недемократической практики и теории большевиков.

Все это не могло не породить у некоторых большевиков и прежде всего у самого Ленина впечатления о внутренней слабости и неуверенности либералов и других социалистов. Казалось, утверждения Маркса о цепкости, с которой буржуазия держится за власть, и жестокости, с которой она добивается своих целей, были уже не вполне приложимы к новым условиям. С начала XX века господствующие классы Запада как будто бы уже не обнаруживали ни подобной решимости, ни даже чувства самосохранения. Они, казалось, вполне заслуживали презрения.

После ноября 1917 года остаточное действие этих впечатлений дало о себе знать в приемах внешней политики большевиков. На международной арене им постоянно чудились образы их бывших противников — меньшевистских и кадетских пропагандистов; их скептицизм насчет внутренних сил и жизнеспособности любого демократического режима временами окрашивал весь ход советской внешней политики.

Можно, конечно, утверждать, что некоторые психологические навыки, которые, достигнув власти, принесли с собою большевики, вредили им самим: крайняя подозрительность к любому направлению или правительству, если они не полностью разделяли большевистскую идеологию; недооценка силы и устойчивости демократии в странах Запада; взгляд на международную политику как состоящую, главным образом, из столкновения экономических и военных интересов. Но реальность международной политики оказывалась после 1914 года ближе к этим восприятиям большевиков, чем к взглядам, которые были общими у либералов и более умеренно настроенных социалистов.

Первая мировая война изменила и тон, и само содержание европейской политики. Это утверждение стало явным трюизмом.

Но оно преисполнено смыслом, когда речь идет о переменах, которые произошли в большевистской партии под воздействием войны и стремительного разворота русской истории между июнем 1914 и ноябрем 1917 годов. При всех оговорках, которые высказаны нами прежде, большевистское крыло русского социалистического движения все же воспринимало себя как составную часть европейской социал-демократии и в том ее виде, в каком она существовала до выстрела в Сараево. Раздражение, испытываемое Лениным ко Второму интернационалу, еще не побуждало его обдумывать возможности основания нового, враждебного к существующему интернационалу. Споры его с меньшевиками не предвещали еще, что трещины в русском социализме непоправимы. Если по своему температурному большевики не питали особых симпатий к западному парламентаризму, это еще не означало, что они уже тогда вынашивали свою ноябрьскую тактику: вооруженный захват власти одной партией, — их собственной, — наперекор сопротивлению других социалистических и революционных групп. Официальная доктрина все еще предусматривала после уничтожения монархии (или, по крайней мере, пережитков самодержавия в ней) промежуточный период буржуазного либерализма и лишь после этого — социализм.

Сила и стабильность европейской международной системы воспринимались как данность даже самыми суровыми из ее критиков. Конечно, мрачные предчувствия большой войны были широко распространены и до 1914 года, и за предшествующие десятилетия они несколько раз оказывались чрезвычайно близки к реализации. Однако остатки рационализма XIX века все еще мешали большинству людей предвидеть разрушительность и всеохватность этой войны, ее длительность и масштабность вызванных ею потерь как физических, так и моральных.

Даже при самом радикальном марксистском подходе немислимо было предположить, что господствующие классы Европы — капиталисты Франции и Англии, правящие династии Германии и России — могут допустить, чтобы борьба за территории и соперничество национальных самолюбий довели их до подрыва их собственной власти. Ожидалось, что война будет сравнительно коротка и вовсе не тотальна. Так что каждый добрый социалист мог надеяться, что война ослабит капитализм, но не мог

при этом предвидеть того разрушения всего прежнего образа жизни, которое после четырех лет кровопролития оказалось совершившимся фактом. Нельзя было предвидеть ни падения династий, ни распада империй, ни руин, в которые превратятся побежденные народы.

Но к 1916 году ясно стало, что какое бы то ни было соглашение между враждующими сторонами в духе восстановления европейского равновесия, как оно сложилось до 1914 года, — напрасная мечта. Теория о фундаментальной солидарности правящих классов Европы, об их желании и способности сдерживать любые конфликты в разумных границах обернулась мифом. Международная буржуазия, международный порядок оказались гораздо более слабыми и разлаженными, чем могло даже мечтать большинство социалистов.

Точно так же обнаружил свою недееспособность и международный социализм, как он воплощался во Втором интернационале. Уже довольно того было для русских марксистов, что им приходилось заседать в организации, в которую были допущены такие явно неревolutionные партии как английские лейбористы или еврейская рабочая партия "Поалей Сион". Но вопреки этому они все-таки воспринимали Интернационал как повсеместного представителя рабочих масс и как внушительную силу на международной арене. Когда тучи войны только еще сгустились, Интернационал заявил со всей решительностью, что рабочие не допустят затяжной международной бойни по приказу своих капиталистических хозяев. Легкомысленно предсказывалось, что две самые мощные социалистические партии — немецкая и французская — используют свое очень значительное влияние на организованный труд своих стран, чтобы в случае сползания своих правительств к войне объявить всеобщую забастовку.

И все же нескольких недель летом 1914 года оказалось достаточно, чтобы вдребезги разбить все эти надежды на силы социалистов и на их решимость предотвратить войну. Ни одна из главных партий Европы против войны не выступила. Трудно переоценить воздействие этого "предательства" на самых радикальных из русских социалистов. Для Ленина оно знаменовало собою окончательное выбрасывание за борт всего того, что он считал социал-демократическим гримом. С первых

дней войны его сочинения наполняются решительными осуждениями всего мира идей и стратегических установок Второго интернационала. Даже Маркс и Энгельс подвергаются им ретроспективной критике за то, что после 1871 года они внутренне допускали, что дорога к социализму в большинстве стран Европы может пролегать через выборы и парламентскую борьбу. Ленин призывает теперь к возврату на открыто революционные позиции марксизма, какими они были вплоть до 1870 года, к тому, чтобы отбросить само дискредитированное слово "социалист", заменив его словом "коммунист". Что касается большевиков и многих других русских социалистов, то им и прежде демократические и парламентские вкрапления в социализм представлялись всего лишь обманом и заблуждением. Отныне ударение снова должно было ставиться на революции и насилии.

Разграничительная линия в русском революционном лагере пролегла сквозь вопрос об отношении к войне, который перекрыл собою все другие несогласия в идеологии или тактике. Это оказало неопределимое воздействие на ход революции 1917 года. Фигуры, подобные Плеханову, которые связали свое имя с военными усилиями России в революционном лагере, оказались дискредитированы. С другой стороны, была забыта былая вражда к Ленину таких влиятельных деятелей как Мартов, поскольку они разделяли теперь его антивоенную позицию.

Война побудила Ленина впервые приступить к разработке его теории международных отношений. До 1914 года он был русским революционером; теперь центр революции сделался международным, а судьбы социалистического движения в России следовало подчинить более величественной задаче европейской или мировой революции. Война избавила его от прежних укоров совести и сомнений. Из ученика Маркса и Энгельса он сознательно превратился в их продолжателя. Он окончательно высвободился от какого бы то ни было почтения ко Второму интернационалу и таким его немецким вождям как Каутский. Война перестала восприниматься им просто как бедствие, превратившись в изумительную возможность международной революции. Так, по мере того как длилась война, а первоначальный энтузиазм воюющих стран уступал место пониманию размера жертв, которые все росли и росли и конца им не предвиделось, главной мишенью Ленина становились не столько те социалисты,

которые приняли националистическую позицию своих правительств, сколько те из них, которые добивались немедленного мира. Идея, согласно которой война должна оказаться главным фактором, который приведет капитализм к падению, была чем-то совершенно новым в марксистской теории. Прежде марксизм полагался на "внутренние противоречия" капитализма, на его прогрессирующую неспособность управлять им же самим созданной экономической системой. Теперь огромные возможности для революции открывались постольку, поскольку капитализм обнаружил свою неспособность оберегать международный порядок, избегая опустошительных войн.

Ленин сделал из этого два вывода. Во-первых, задача революционного социализма состоит в том, чтобы вести постоянную революционную борьбу, извлекая выгоды из предрасположенности капитализма к непрерывным войнам и пытаясь убедить вооруженные массы повернуть свое оружие не против внешнего, но против внутреннего врага: против собственного господствующего класса. Во-вторых, стадиям экономического развития, столь решающим для классического марксизма, должно быть отведено второстепенное место. Война открыла перед социалистами возможность захватывать власть в странах, которые еще не созрели для социализма. Следовательно, мировая революция может получить свой первоначальный толчок и в России, хотя по своему экономическому развитию она и остается далеко позади Англии или Германии.

Вооруженный этими допущениями, Ленин приступил к поискам как средств, так и принципов новой формы революционного социализма. Средством должен был стать новый интернационал, который ни в чем не будет походить на прежний, ненавистный Второй интернационал. Он не будет простой конфедерацией партий, объединенных всего лишь общим мировоззрением и обсуждающих время от времени на своих конгрессах общую политику, которая ни в коей мере не обязательна для составляющих ее групп. Ленин, иначе говоря, стремился достичь в международном масштабе того же самого, чего, начиная с 1902 года, он добивался и в русском социализме: создать отчасти политическую партию, отчасти воинственный орден, готовый броситься в революционную борьбу в любом ме-

сте, где это сочтет своевременным центральное руководство. Пока длилась война, Ленин не располагал еще достаточными возможностями, чтобы окончательно выработать свою концепцию Третьего интернационала. Но он уже тогда работал над созданием новой атмосферы, обособляющей от старой социал-демократической традиции как можно больше практически действующих марксистов.

Три антивоенные конференции, проведенные марксистами в Берне, Циммервальде (1915) и Кинтале (1916), не утолили ленинских надежд. Все они были по своей ориентации пацифистскими. В Циммервальде лозунг Ленина о превращении империалистической войны в гражданскую был поддержан всего восемью из приблизительно сорока делегатов. Но Циммервальд во многих отношениях заложил фундамент Третьего интернационала, создание которого было объявлено в 1919 году в Москве. Там впервые Ленин поднялся из своего положения лидера одной из фракций русских социалистов (к которому к тому же большинство светил мирового социализма относились с некоторой неприязнью) до позиции международного вождя — ничтожной кучки пока что, но располагавшей конкретными и бескомпромиссными ответами на проблемы дня.

Непримиримость Ленина и его последователей начала приносить им свои кредиты в среде иностранных социалистов еще пока длилась война. Утонченные схемы Маркса вкуче с учеными уточнениями Каутских, Гильфердингов и всех прочих казались менее важны по сравнению с теорией и планом, как прекратить бесконечную бойню, как ликвидировать социально-политическую систему, которая допустила эту бойню. Значительная часть того уважения, которого добились большевики среди своих собратьев-социалистов, той терпимости, с которой самые ортодоксальные и демократически настроенные социалисты отнеслись к большевистской революции, преступившей все каноны их веры, как это видно в ретроспективе, непосредственно восходит к тому факту, что война притупила привязанность людей к цепетильностям доктрины, побудив их отдать предпочтение любому революционному решению.

Теоретическим бастионом этой новой точки зрения была работа Ленина "Империализм как высшая стадия капитализма".

Во многих отношениях это — главный теоретический источник для изучения основ советской внешней политики. Ленин объявляет там, что милитаризм и империализм — неотъемлемые характеристики наиболее развитой фазы капитализма. Так он открыл для себя возможность отвергнуть тезис Маркса о преимущественно мирной природе капитализма. Маркс был прав, — говорил теперь Ленин, — но только постольку, поскольку это касалось раннего капитализма. Начиная с 1870-х годов, капитализм переходит от конструктивной и более или менее мирной фазы к стадии монополистического капитала. Исчерпав возможности внутренних капиталовложений, наиболее развитые капиталистические страны оказываются втянуты в борьбу за колониальные территории, где они могут получить более дешевый труд и сырье. Фактически Ленин подошел к утверждению, что рост жизненного уровня английского, французского или немецкого рабочего куплен ценой ограбления трудящихся Индии, Китая и т.д.

Из рассуждений Ленина вытекают следующие важные выводы:

1. Мирлюбивые и демократические элементы в учениях Маркса и Энгельса последнего их периода (от семидесятых годов до 1895 года) к современной ситуации больше не применимы. Зрелый капитализм снова сделался грабительским и репрессивным даже в гораздо большей степени, чем при первых своих шагах, поскольку теперь само сохранение капиталистической системы предполагает не только нищету масс, но и порабощение целых народов, и кровавые бои типа первой мировой войны. Прямым долгом каждого марксиста становится его непосредственное участие в боевой революционной работе. Парламентаризм и достижение политической власти мирными средствами отодвигаются на второй план.

2. Центр тяжести марксистской деятельности должен быть перенесен на международную арену. Маркс предусматривал падение капитализма в результате *внутреннего* разложения системы, как только данная страна достигнет соответствующего уровня индустриализации. Теперь, однако, обнаруживается, что действительная ахиллесова пята капитализма, — в его интернациональном характере, во взаимозависимостях капиталисти-

ческих государств, в их иждивенчестве за счет колониальных и отсталых территорий. Не событиями в Ланкшире или Глазго будет ускорен крах британского капитализма; гораздо вероятнее, что английский рабочий снова станет революционером, когда его подтолкнет к этому падение британского владычества в Индии и других колониях. Самое слабое звено в цепи — это не фабрика у себя дома, а заморские владения.

3. Главное поле революционной борьбы перемещается, таким образом, с развитых индустриальных обществ к полуиндустриальным или даже вовсе неразвитым странам. *Социализм* по-прежнему в такой отсталой стране как, допустим, Россия, построен быть не может, но захватить власть *социалистам* легче там, чем в той же Англии. При этом все еще подразумевалось, что выживание революции и построение социализма в менее развитых странах возможно только лишь при условии, что пламя революции охватит и развитые народы, откуда должна придти необходимая поддержка. Однако начать должен все-таки Восток. Это была самая опасная и решительная ревизия классического марксизма, послужившая в 1917 году оправданием действий большевиков.

4. Центр тяжести революции перемещается не только *географически*, но и *социально*. Маркс учил, что единственным подлинно революционным классом может быть только пролетариат. Пролетариат призван был совершить революцию и принести с собою социализм. Но в полуиндустриальных или неразвитых странах пролетариата либо вовсе не было, либо он был слишком слаб. Поэтому Ленин в "Империализме" был совершенно логичен, обращаясь к интересам крестьянства, которое, согласно понятиям классического марксизма, — независимо от того, владело оно землей или нет, — представляло собою вовсе не пролетариат, а "мелкую буржуазию". Тактические выводы из этой ленинской переоценки выводов марксизма заходили даже еще дальше. В колониальных областях правоверный марксист не должен испытывать никаких угрызений совести, заключая союз даже с высшими или средними классами угнетенных народов. Независимо от того, насколько реакционны их взгляды, они все равно — союзники, поскольку оказываются в *националистической* оппозиции, допустим, к британскому или французскому колониальному господству.

В тот момент Ленин был заинтересован прежде всего в том, чтобы расширить свою тактику, применявшуюся им еще до 1914 года, и воспользоваться национальными противоречиями Российской империи как горячим материалом революции. Так, например, хотя влияние марксизма среди украинских крестьян равнялось почти нулю, сепаратистская агитация на Украине подрывала бы царский режим, как и его буржуазных наследников после Февральской революции, облегчая тем самым задачу воинственных марксистов в Москве и Петрограде. Поэтому Ленин боролся и против тех более идеологически добросовестных большевиков, которые доказывали, что разжигание националистических беспорядков среди татар Поволжья или тюркских народов Средней Азии играет на-руку самым реакционным элементам, — муллам, например, националистическая позиция которых соответствовала их желанию сохранить свое религиозное влияние. В борьбе против царского режима нельзя презирать ни одного из возможных союзников, нельзя сбрасывать со счетов ни один элемент, который имеет повод испытывать недовольство Российским государством.

Дальнейшие приложения этих ленинских тактических установок обнаруживаются лишь после того, как партия большевиков приходит к власти. Коммунистическая Россия не пренебрегла сотрудничеством с националистическими движениями в Индии, Египте или Турции — даже если определяющей силой в них оказывались местные капиталисты и помещики. Временами такие союзы диктовали необходимость сотрудничества даже с теми движениями и правительствами, которые истребляли собственных коммунистов. Национальные противоречия были расценены как ахиллесова пята царской России и совершенно так же, как самый уязвимый элемент капиталистического миропорядка, рассматривалась впоследствии колониальная проблема. Эта предложенная впервые в "Империализме" тактическая линия проводилась затем в советской политике 20-х годов, когда поддерживались ею такие властители как Кемаль Паша, Чан Кайши и Аманулла, — вплоть до одобрения Хрущевым любых "войн за национальное освобождение". Точно так же утверждение, что промышленный рабочий не обязательно должен быть главным носителем социального переворота, находит свою иллюстрацию в тактике Мао Цзэдуна конца 20-х — начала 30-х годов, когда китайские

коммунисты основывали свое стремление к власти на чаяниях крестьянства и пытались возместить в деревне неудачи, которые постигли их в городах побережья. Точно так же и более поздние идеологические установки китайских коммунистов (1965-1968 гг.), когда они защищали фактически союз с "деревней" (с неразвитыми, главным образом, сельскими районами мира) против "городов" (индустриальных областей, включая и СССР) — все это опять-таки производные от ленинских наставлений, как надлежит использовать империализм и колониализм в борьбе за разрушение сложившегося международного порядка.

Так "Империализм" Ленина подготовил то, что вскорости должно было откристаллизоваться в отношении коммунизма к международным проблемам. Сделавшись главой государства, Ленин многое пересмотрел и изменил. Но его "Империализм" по-прежнему был и остается (хоть и в убывающей степени) той призмой, сквозь которую советские руководители смотрят на окружающий мир, одной из важнейших догм их внешней политики.

Перевод Бориса Шрагина